

Время, когда плакать можно

Вадим Макишвили

У тротуара затормозила машина, зажглись аварийные огни.

В утренней спешке люди толкались перед ступенями подземного перехода, стряхивали с шапок внезапно посыпавшийся снег и сбивали с обуви мокрую грязно-серую кашу. Лохматыми хлопьями снег опускался на лобовое стекло автомобиля, машина урчала, ручка передач мелко тряслась. Водитель, ссутулившись, исподлобья смотрел поверх руля и словно чего-то ждал. Его пассажиры на заднем сиденье не шевелились. Одна женщина крепко жмурилась и что-то шептала, другая мутно глядела перед собой и изредка моргала, как человек с привычным нервным тиком.

Водитель дёрнул ручник, стремительно вышел, снег облепил короткостриженую голову. Обошёл машину, распахнул пассажирскую дверь. Холодный воздух ворвался в салон, снежинки, закрутившись, устремились внутрь, налипая на ресницы, губы и щёки женщины. Она дёрнулась как от хлесткой пощёчины и часто-часто заморгала, словно не в силах сообразить, где находится; остановилась взглядом на открытой двери, увидела мужские брюки и протянутую к ней руку. Снег падал на грубую ладонь и превращался в капли воды. Женщина подалась к выходу, но вдруг остановилась. Соседка схватила её за локоть.

— Марша гьойла. — Услышала она, не оборачиваясь.

Не ответив, опёрлась о руку, протянутую мужчиной, и ощущая себя старухой, вылезла из автомобиля.

«Марша гьойла [Уходи свободной (пер. с чеченского)]», — ответила она скорее себе, и услышала голос мужчины:

— Саца йелхачур. Къант хьежа хьо [Утри слёзы, женщина. Тебя сын ждёт].

Женщина высвободилась из чужой ладони, рукавами утёрла слёзы. Извлекла из кармана платок — несвежий, мятый, в крови. Отогнула край где почище, высморкалась, и замерла, уставившись невидящим взглядом на кровавые корки в платке.

— Вада йало! [Иди, ну!] — Мужчина несильно толкнул её в плечо, направив к спуску в подземный переход. — Къант хьежа хьо.

Женщина всё тем же отсутствующим взглядом посмотрела туда — люди толклись на ступенях, образуя два встречных потока. С трудом переставляя ноги, как на ходулях, женщина шагнула в ту сторону и через несколько секунд исчезла из виду, утянутая вниз водоворотом курток и зимних шапок. Мужчина, вдруг опомнившись, кинулся вслед:

— Аниэ, ахча духадала [Аниэ, деньги отдай]! Аниэ?

Он выбежал на ступени подземного перехода, выпрыгивая над головами прохожих.

— Аниэ! — Мужчина крикнул в последний раз.

Потом в сердцах сплюнул и, грубо расталкивая перед собой людей, направился к машине.

Толпа захватила её, зажала чужими плечами, задышала в затылок, заставила встрепенуться и подстроить шаг.

Справа, слева и везде, куда хватало взгляда, в странном танце раскачивались головы. Вспомнилась передача, которую она видела по телевизору, может быть «В Мире Животных». Там важные птицы с белыми круглыми животами на двух ногах вперевалку шли к краю льдины. Аниэ, как та птица, название которой крутилось в голове, но никак не давалось, шла за всеми, переступала с одной ноги на другую, вовремя нащупывала под собой ступеньку и спускалась ниже под землю.

Слёзы ползли по щекам, и Аниэ машинально слизывала их пересохшим языком, не ощущая соли. Нос, забитый корками, почти не дышал. Через два вдоха на третий женщина открывала рот и, подобно рыбе без воды, глотала огромную порцию воздуха. Даже взгляд у этой женщины походил на рыбий — такой же полусмысленный, растерянный, напуганный. Вздыхающая рыба со слезящимися глазами способна вызывать жалость, но там, откуда женщина приехала, её никто не жалел, а здесь никому до неё дела нет.

Остановиться и оглянуться невозможно — влекомая людским потоком, Аниэ стала частью чего-то живого и в то же время бездушного. Мутно, без особого интереса огляделась: так много людей, так близко, трутся, стучаются плечами, друг на друга не смотрят. Люди хмурые, каждый в себе. И лица у них, словно сам этот спуск — серые, неживые.

Вдруг на повороте она оступилась, и чуть удержавшись, налетела на кого-то впереди. Пожилая женщина что-то сердито бросила через плечо.

— Простите меня. — Поспешила сказать, но вышло хрипло, голос потонул в шуме толпы.

Этот шум, разношёрстный, сотканный из звуков шаркающих подошв, кашляющих ртов, шуршащей одежды, захлёстывал Аниэ, окунал с головой в новый мир, в новую жизнь, которую она не знала и узнавать боялась. Живот подвело и щека задёргалась в привычной судороге.

Не сбавляя скорости, пожилая женщина ушла вперёд, целлофановые пакеты в её руке бойко подпрыгивали в такт шагам. Людской поток вылился к десятку стеклянных дверей и вдруг растёкся по ним отдельными стремительными ручьями. Женщина впереди не придержала дверь, и створка, легкая на первый взгляд, с размаха врезалась в плечо. Аниэ нелепо отшатнулась, наступила на чью-то ногу и услышала в свой адрес что-то неприлично грубое.

— Извините, — Аниэ, обернувшись в дверях и попыталась поклониться, — извините меня.

— Господи-и-и! Да, идите уже.

— Уважаемый, — Аниэ протянула руку к мужчине, — я не хотела.

— Тьфу, ты. — Мужчина средних лет поспешно повернулся к ней спиной и шагнул в соседний поток.

— Извините! — Аниэ силилась крикнуть ему вслед, но голос сорвался и захрипел. Да и мужчина уже прошёл внутрь, лишь на ходу обернулся и посмотрел на неё, как на ненормальную.

Вошла в дверь, остановилась посреди зала. Турникеты, очереди на эскалаторы, кассы, люди в синей спецодежде. Суэта. Ей показывали фотографии, но видеть своими глазами — не то же самое.

Она, ещё молодая, но изуродованная женщина со сплюснутым переломанным носом, с заживающим шрамом через всю щёку, глазела по сторонам, чужая здесь и такая же неуместная, как отпечатки грязных сапог на натёртом паркете в библиотеке: в черном платке, завязанном на узел под подбородком, в длинной куртке явно большего чем надо размера, и со взглядом — потерянным и обречённым, как у тех таджиков, что сидят пёстрой толпой на мешках в углу.

Людей в кассу почти не было. Аниэ несмело подошла, за ней заняла девушка: в ушах белые проводки, оттуда громко буцкает музыка, на губах фиолетовая помада. Непрерывно жуёт, причавкивает и, кажется, этого не стесняется. Вдруг Аниэ опешила — девушка высунула облепленный жевательной резинкой язык, надула упругий пузырь и с громким чпоканием его лопнула. Затем, как корова траву, собрала резинку с губ и снова надула. Внезапно, вскинув брови, девушка в упор уставилась на Аниэ. Та поспешила отвести взгляд.

«А ведь не намного старше сына. Совсем не намного. Совсем другой человек. Весь мир другой».

Второй день через дыру в крыше течёт вода. Проклятый дождь. Как из открытых кранов, бежит с потолка, разбрызгивает грязь вокруг поставленных вёдер и корыт.

Аниэ выплеснула за дверь полное ведро, поставила назад. Вода гулко забарабанила по дну. Женщина устало опустилась на колени, вытерла ещё одну лужу, отжала тряпку, не обращая внимания на жирную грязь, стекающую по рукам коричнево-чёрными ручьями. Встала, отжала намокший подол, оглядела другие вёдра.

Крышу пробил снаряд два месяца назад. Слава Аллаху, никого в доме не было. Ваха дыру укрыл целлофаном, привалил сверху досками. Может быть от снега и убережёт, но от дождя не спасает.

Бесконечный дождь. Без грома. Без молний. Льётся с неба и всё. Разве так было когда-то? Никогда так не было. Как и не дождь вовсе. Как слёзы. Может это и есть слёзы? Тогда пусть льёт. Пусть оплакивает, в Сельментаузене есть кого.

Аниэ подошла к кровати, подоткнула одеяло вокруг сына. Сырое, тяжёлое. Всё в доме отсырело.

Окна вместо стекол затянуты толстой плёнкой. В комнате тускло. В сером свете лицо мальчика тоже серое, а щёки горят, как с мороза. Мешки под глазами темные, синие. Лоб горячий, сухой. Дышит так, что не слышно как дождь стучит по подоконнику и по дырявой крыше. Не дыхание вовсе, а хрип.

Это никогда не кончится. Тягучий, тоскливый, оупляющий дождь. Некому больше верить. Никому отсюда не уйти. Ни Аниэ, ни другим семьям. Да семей больше нет, все звери стали.

— Нана [Мама]!

Сын вскрикивает, выбрасывает ноги из-под одеяла и порывается вскочить.

— Тихо, мой хороший. Тихо. — Аниэ крепко прижимает мальчика к себе. — Я здесь, родной. Всё хорошо, всё наладится.

Она удерживает сына, укладывается рядом, опускает его голову себе на грудь и гладит. Мустафа дёргается, но постепенно затихает и погружается в мутную дремоту. Дышит раскрытым ртом, губы сухие и в углах растресканные, дыхание изо рта несвежее, болезненное. Но Аниэ не морщится и не отворачивается. Запах нечищенных зубов — уже не то, что здесь пугает.

Остатки тепла выходят через щели в оконных рамах и дыру в крыше. Печь, давно забывшая запах свежего хлеба, зияет чёрной холодной дырой. Дрова кончились уже неделю. Ни горячего чая, ни сухой одежды.

— Слушаю вас. Женщина!

Аниэ очнулась перед окном кассы, забранной стеклом. Только небольшое окошко на уровне груди. Склонилась, почти всунув лицо в окошко, и чётко, как только смогла, выговорила:

— Билет продайте.

— Не надо ко мне наклоняться. Я вас хорошо слышу.

— Что? — Не поняла Аниэ.

— Наклоняться не надо, говорю! — Повторила кассирша. — Сколько вам поездок?

— Что? — Снова не поняла Аниэ, так же всовывая лицо в прорезь.

— Поездок сколько, говорю! — Ещё громче сказала кассирша. — Одну, пять, десять? Сколько?

— Одну. Мне одну. — Аниэ выпрямилась и огляделась. Девушка, не прекращая двигать челюстями, смотрела на неё с откровенной брезгливостью.

— Женщина! — Позвала её кассирша.

Аниэ торопливо наклонилась к прорези.

— Что?

— Ну, деньги вы мне даёте? Или как?

— Да, — опомнилась Аниэ.

Она порылась в карманах, протянула в окошко всё, что ухватила пальцами. Смятые бумажки, шурша, расправлялись в лотке, как розы раскрываются на солнце. Кассирша приспустила очки и поверх них уставилась на Аниэ.

— А больше у вас нет? — Сязвила она.

— Что? — Аниэ опять склонилась к окну.

— С вас пять рублей, говорю! — Громко сказала кассирша. — А вы мне накидали тут.

— Oh, shit, — вздохнула сзади девушка и хлопнула пузырьём.

Аниэ обернулась и затравленно улыбнулась.

— Ты мне, девочка?

— Женщина! — Снова закричала кассирша.

Аниэ сунулась в окно, ощущая, как паника растёт в ней снежным комом.

— Забирайте скорее, не создавайте очередь.

— Спасибо вам.

Аниэ сгребла в ладонь деньги и билет, поспешно отошла от кассы. Остановилась. Сердце в голове, как молотом в подушку. Страх обнял душу ледяными щупальцами. В руках картонный квадратик и мятые деньги. На картонке фотография какой-то станции метро - несколько десятков арок выстроились одна за другой — колонны высотой в несколько человеческих ростов тянутся друг к другу, образуя огромные подковы, украшенные потолочными нишами и освещённые яркими плафонами. Аниэ, как загипнотизированная, разглядывала фотографию с минуту, затем непроизвольно дёрнулась всей головой, как дергаются дети во время сна, судорожно вздохнула и сглотнула сухим ртом. Повертела карточку в руках. На обратной стороне какие-то буквы. Попробовала прочесть, но от слёз буквы расползаются в разные стороны. Так пятно жира расползается на много мелких в воде.

Оторвала взгляд от картонки и огляделась. Мальчик с круглым и грязным лицом, на цветастой сумке в углу, прилип голодным взглядом к деньгам в её руке. Аниэ посмотрела на деньги, как бы его глазами, затем снова на мальчика. Тот заметил и спешно отвернулся. Лавируя между бегущих к турникетам людей, Аниэ приблизилась к нему, присела, протянула ладонь, сжатую в кулак.

— Возьми.

Мальчик отпрянул. Так Мустафа дёргался от громких звуков. Аниэ разжала ладонь, смятые бумажки денег упали мальчику на колени.

— Уезжай домой.

Сквозь накатившие слёзы лицо мальчишки преобразилось, словно Мустафа стоит под водопадом и смотрит на неё через струи воды.

— Аллахом прошу, уезжай отсюда.

Слезы поползли по щекам. Сгорбленная Аниэ пошла к турникетам, таджики провожали её молчанием. Потом вдруг загалдели вокруг мальчишки с деньгами. Аниэ шла, ощущая, как силы покидают её с каждым шагом, словно оставались в следах на полу за ней. А с силами её оставляла и решимость.

Турникет. Карточка. Эскалатор. Ступила на движущуюся ленту и, чуть не завалившись, схватилась рукой за поручень. Давно небеленый сводчатый тоннель уходит далеко вниз. Навстречу из глубины метро выплывают белые шары светильников на железных ногах, матовым светом освещают лица. На ступеньку ниже молодой человек, на макушке волосы закручиваются в спиральку. А у сына... Матовые светильники расплылись от набежавшей слезы, протянули в разные стороны длинные белые лучи, в носу привычно запульсировала боль... У сына не такая макушка...

«Старики говорят, человеку с двойной макушкой Аллах помогает», — Аниэ смотрит на макушку сына и чуть не плачет от отупелого бессилия.

Семь лет назад Россия вошла в Чечню. Сыну пять было. Что он видел с того времени? Велосипед? Или мультики по телевизору цветному? Или книжки с картинками в руках держал? Когда восемь исполнилось, с радиоприемником играл — треск слушал и новости из столицы пересказывал. А когда десять настало, бандиты приёмник растоптали и нас чуть не убили, пока Ваха им последние деньги не отдал. С того дня мальчишка совсем дикий, звёрек лесной. Где ты, Аллах? Чем нам помог? Ты видишь это? Или дождь тебе мешает, будь он, наконец, проклят!

Незаметно глаза стали слипаться, мысли путались, цепляясь одна за другую, словно в бесконечной карусели.

Старики говорили, война кончится — жизнь вернётся. В 1996 первая война кончилась, мы победу праздновали, в небо палили, радовались. Кого победили? Знай Джохар, что бандиты власть захватят, начал бы он ту войну?

Ничего русские не смогли. Ничего для нас не сделали: если бы только чёрные и арабы пришли после победы, это можно было бы понять. Старики только головами качают — свои пришли, чеченцы... Сначала с ваххабитами хлеб преломили, а потом наш Ислам ломать пришли. Мужчин убивали, стариков; женщин воровали, дома грабили. Разве этого Джохар хотел? Мужчины рассказывали, он свободы для народа хотел. Зачем воров выпустил? Не спросишь мёртвого. Теперь Масхадов, но кто ему верит?

Ваха хотел коз купить, овинник поставить хотел. Вторая война пришла — всё разрушила, мужчинам хребты перебила, трусами сделала: раньше ваххабитов боялись, теперь русских боимся — как местами они поменялись, только ваххабиты за деньги здесь, а русские за страх. Всего русские боятся: гор наших боятся, ночей наших, бандитов этих проклятых. Так боятся, что сами страх творят.

Восемнадцать месяцев блокады пережили. Сколько нам осталось? Месяц? Или два? Без воды, без света, без врачей. Старики, как сговорились, один за другим пухнут от голода и болезней. Кто такой ужас придумал? Зачем русские оцепили наши сёла? Мы мрём, а бандиты в горах над вами смеются. Ждёте, что Басаев в тейп вернётся? Еще полгода блокады, и некуда ему возвращаться, перемрём всё.

Все друг друга боятся, а Мустафа храбрится. Глаза нехорошим огнём горят, зубами скрипит — так ненавидит длиннорылых. Русских тоже ненавидит. Откуда в нём столько злости? Ваха тоже не понимает. Говорит, взрослый на страхе выживет — отцы наши выжили в 44-м и потом в 59-м, а мальчишки от страха ломаются. Им злиться нужно...

— Этот был без пальцев. Нет! Иса видел!

Аниэ очнулась от крика, прижала сына к себе. Бредит, мечется. Дрожит.

— Тихо, тихо, мой хороший.

Аниэ гладила и успокаивала его, пока он не затих в дрёме. Её веки снова стали опускаться. Мысли и страхи расселись по привычным местам на карусели и вновь закружились по одному и тому же маршруту.

Она знает, откуда этот бред. Из двенадцати — семь лет горя. Все разговоры у мальчишек только об оружии и кого в какой позе нашли.

«Джебраила нашли. Ногти содраны, руки расплющены. Расстрелян», — месяц, как принёс ей это известие муж. Убили Джебраила, последнего милиционера в селе. Месяц назад было, а как год прошёл. Вести о смертях каждый день теперь приходят в дом.

Вдруг Аниэ открыла глаза. К дому кто-то торопливо шёл, дворовая грязь чавкала под его ногами. Сердце испуганно затрепыхалось, ладони миглом вспотели. Она проморгалась, разгоня сонливость. С внезапно захлестнувшим страхом увидела, как дверь открывается.

Ваха. Это Ваха. Слава Аллаху.

Вошёл тихо, осторожно за собой прикрыл.

— Могушалла [Здравствуй]. Как?

— Горячий совсем. — Аниэ шепотом ответила. — Цамгаро азвина иза [Болезнь проклятая, совсем измучала]. Бредил. Рвался куда-то, ругался.

Ваха тяжело опустился на облупленный табурет. Стянул с головы промокшую насквозь шапку, и не снимая куртки, опустил лицо в мокрые ладони.

— Нельзя так больше, Аниэ. Нельзя. Я должен.

— Нет, прошу тебя! — Страх вернулся, плеснув Аниэ кипятком в лицо. Она округлила глаза. — Не ходи, не ходи. Нельзя, нельзя, слышишь?

— Тихо. Не буди сына.

Он подошёл к кровати, наклонился над Мустафой и поцеловал в горячий лоб. Аниэ схватила его за рукав, потянула к себе.

— Аниэ, ты не понимаешь. — Он вырвал руку из её пальцев. — Больше не из чего выбирать. Дай мне быть мужчиной.

— Он ещё может выздороветь, а тебя убьют. Убьют же!

Ваха поцеловал жену в лоб и быстрым шагом направился к выходу.

— Разве мужчина оставит семью? — Крикнула она вдогонку. — Твой отец так поступал?

— Если не вернусь, скажи сыну, я вас люблю.

— А потом? Что мне делать потом?!

Аниэ откинулась на сверток вещей, служивший подушками, прижала к себе сына и, зажмурившись, слушала чавкающие по грязи шаги мужа, пока они не растворились

в уличном шуме. К горлу подкатил тугой комок, на глаза навернулись слёзы. Нельзя плакать! Не смей плакать!

Смахнула набежавшие слёзы, вытерла об карман куртки. Не отпуская поручень, нащупала в кармане платок и кое-как высморкала корки. Уже полгода нос пересыхает, разбухает внутри. Забудешь высморкаться — корки распирают нос, дышать невозможно, и боль возвращается, тугая и упрямая, раздирающая лицо на куски.

Лестница бесконечная, утягивает железными ступенями в бездну. Аниэ смотрит на спины людей впереди и вспоминает муравьёв, которые по весне устраивают на дедовской яблоне черные шевелящиеся дорожки. Не похожи здесь люди на муравьёв, вглядывается Аниэ выстроившуюся перед ней шеренгу спин и сумок. Она видит сотни незнакомых (ухаженных, незаметно для себя отмечает чисто женским взглядом) лиц, проплывающих навстречу по соседней лестнице, и не находит в них ничего такого, ради чего хотелось бы им говорить «здравствуйте». Ни следа бодрости или жизнелюбия. Не мёртвый муравейник, думает Аниэ, но уже и не живой. Заторможены, словно мухи, которых враспloch застали осенние холода. Вялые, сонные, равнодушные друг к другу, с отпечатком многолетней усталости в складках губ. Отчего вы такие? Я видела вашу жизнь: улицы полны света, дома согреты, а глаза сыты.

Боялась ли она сюда ехать? Глядя в равнодушные лица, поняла. Боялась. Боялась увидеть жизнерадостных людей и не решиться пройти сквозь них. Опасалась, увидев их здоровых и счастливых детей, повернуться и побежать прочь, словно гонимая одичавшими собаками.

Угодно ли это Аллаху, Аниэ задаёт себе снова один и тот же вопрос, скользя влажным взглядом по лицам пассажиров метро, и впервые за последние полгода к ней приходит робкая уверенность, что может именно этого Аллах и хочет. И вместе с этой мыслью приходит облегчение, какое испытывает путник, наконец вернувшийся с мороза в хорошо натопленный дом и вдохнувший нагретого воздуха.

Внезапно тоска и отчаянная женская зависть схватили её за горло — как много красивых женщин с накрашенными глазами и яркими ногтями! Таких ногтей у Аниэ не было с начала войны. Она сжала руку на ленте эскалатора, спрятала в кулак обкусанные ногти с черной каймой.

Чем глубже её спускал эскалатор, тем сильнее становился запах. Масла. Резины? Запах больших машин? Специфический запах метрополитена навевал воспоминания о вонии сожжённого леса, обглоданных артиллерийским огнём ветках, мелькающих над ней на фоне черного ночного неба, о том вечере... Рот пересох. Её затошнило, руки затряслись и щека стала дёргаться. Аниэ зажмурилась, мысленно повторяя: «Аллах, проводи меня через мои слабости»...

Усталость одолела её. Аниэ силилась не спать, но в конце концов провалилась в состояние, близкое ко сну. На лбу прочертились тревожные складки, словно она в уме решала труднейшую математическую задачу. В голове тяжело ворочались одни и те же мысли, складываясь в путанный сбивчивый монолог, который слушать было некому.

Неделю Ваха не может принести дров. В лес нельзя, все знают: ни за дровами, ни за черемшой — вокруг всё выжгли. Посмотрите на лес — горелые стволы, земля развороченная. Изуродовали наши горы. Каждый день туда стреляют из русских лагерей. Каждый день бомбят там. Ваххабитов в лесу расстреливают. Там живут ваххабиты, так русские считают.

Наши места такими красивыми были. Горы, леса. Села наши рядышком совсем друг к другу: Сельментаузен, Макхеты, Товзени, Хоттунни. Красивые места. Самая вкусная черемша здесь... Русские военные ненавидят здесь всё. Ненавидят, что горы везде. Что в горах бандиты. Что стрелять приходится каждый день. Все наши сёла оцепили, сами себя в клетку посадили. И мы с ними в клетке. И умираем здесь скоро два года уже. Старики мрут, как муравьи от огня. Ваха с мужчинами каждый день их хоронит. Никому не дают уйти отсюда.

Жить нет сил. Как стемнеет, по улице ходить нельзя. Кого мы боимся больше? Тех, кто режет свой народ в священном газавате? Или тех, кто приехал сюда порядок восстанавливать? Кто больше зверь? Будь прокляты те и другие.

Люди исчезают. Мы знаем, куда теперь исчезают. Никто не поверит. Но никто и не спросит. Теперь русские воруют людей, мы знаем. Только из-за одного подозрения, что с боевиками связан. Ходить по селу можно только женщинам, мужчины вместе не ходят, бороды не носят — бреются каждый день, я из дома выхожу, не могу слышать, как Ваха скребет сухие щеки ножом. На улицах держать руки в карманах нельзя. Даже быстро ходить нельзя — ничего не спросят. Нас ничего не спрашивают, стреляют, ошалевшие от страха. Ошалевшие, как мы, боятся нас, в мирных людях, в старых матерях бандитов боятся. Ненавидят нас. Раньше не было такого. Стыдная война. Позор на два народа.

Все знают, кто убил Джебраила. Показался подозрительным. Не было расследования. Суда не было. Все знают. Даже похорон могло не быть, если бы не выбросили тело в развалины. Где ваши прокуроры? Где следователи? Пусть едут, мы всё расскажем.

«В ходе боевого столкновения убит Джебраил Гаджиев. По предварительным данным, он входил в состав вооруженных бандформирований, подчиняющихся Шамилю Басаеву», — Ваха сказал, так русские напишут. Оставили двух девочек без отца...

Так бывает, когда сон заканчивается и тут же начинается заново. Аниэ мухой билась об паутину собственных переживаний, и чем глубже становился её сон, тем мучительнее и назойливей становились её рассуждения. Они повторялись, накладывались одно на другое, вдруг совершенно логично выстраиваясь в новые совершенно бессмысленные формы, и несколько раз казалось, что проснись она сейчас, войны нет. Глаза под веками

вращались, пальцы дергались на голове сына. И было не похоже, что в этом доме один только Мустафа болен.

В сон вплелись ритмичные удары, за несколько мгновений успев выстроиться в связное сновидение, которое забылось в ту же секунду, когда Аниэ раскрыла глаза. За порогом кто-то обивает грязь! Она узнала бы этот топот, даже если бы ей вырвали уши, по одним только вибрациям пола и стен. Ваха. Живой.

К горлу подкатил тугой комок и захотелось не сдерживаться! Аниэ захлестнула такая безвыходность и отчаяние. Невыносимо жалко стало себя, ещё молодую и красивую женщину. И Ваху, сильного и молодого мужчину, который не может вдоволь накормить свою семью. И Мустафу. И родных. Кто уже погиб. И кто ещё жив. До горячих слёз — не удержать их, не втянуть в себя, хоть и нельзя показывать слабость перед мужчиной. Подбородок затрясся, и чтобы не разреветься, она прикусила губу до крови. Аллах знает, но молчит: зачем это всё? Смерть за смертью. Кровь. Горе. Будь прокляты ваххабиты, будь прокляты русские! Страх и горе, ничего другого в душе, всё выжжено и так больно!

С Вахи на пол капала грязь. Он скинул ботинки, заляпанные тёмной жижей и золой, и в насквозь мокрых носках, оставляя грязные отпечатки на давно некрашенных половых досках, прошёл к печи с охапкой мокрых сучьев и веток.

— Они сегодня не смотрят на лес. Я много натаскал, на несколько дней хватит. Ещё спит?

Аниэ улыбалась сжатыми, побелевшими от напряжения, губами, часто моргала, удерживая себя, чтобы не разреветься. Всхлипывала и улыбалась, утирала глаза свободной рукой. Ваха делал вид, что не замечает слёз.

Аниэ высвободила из-под сына затёкшую руку, встала, подошла к Вахе и обняла его. Не говоря ни слова, вжалась в него сильно-сильно, в мокрого и холодного, пахнущего сожженным лесом, дождём, прелой листвой и мужским потом.

Словно в другой мир с другими людьми, эскалатор вынес Аниэ в большой зал с высокими сводчатыми потолками. Сонного спокойствия здесь как не бывало, оно целиком оставалось на ленте эскалатора, стекая с людей на последних ступенях, освобождая их из своего плена. Внезапно проснувшись, люди устремлялись кто направо, кто налево, а кто задирал голову к указателям, свисающим с потолка, и выбрав нужное направление, торопился к платформе. Аниэ остановилась растерянная, слезящимися глазами взирая на эту неожиданную спешку, подземную муравьиную суету.

Повернув налево, она очутилась на платформе. Люди обгоняли её, спешили разойтись по платформе, занимали одним им понятные места. Аниэ брела в этой пёстрой толпе, запах становился гуще, словно там, в туннеле, куда были направлены взоры людей, разлита тонна машинного масла. Оттуда, из вонючей черной дыры повеяло воздухом, поток окреп, словно изгоняемый невидимым гигантским поршнем, по стенам туннеля заплясали блики, постепенно разделившиеся на два горящих глаза. Огромная машина вырвалась из туннеля, толкая перед собой машинную вонь и скрежеща металлом. Включились тормоза, завывли металлические бока, сводчатый потолок содрогнулся от механической мощи. Ветер сорвал с Аниэ завязанный под подбородком платок и сбросил его на плечи, за спину, открыв давно не стриженные седые волосы.

Фотографии, которые показывали в лагере, не передавали этой неотступной мощи, неукротимой силы гигантского железного червя. Напуганная, впервые оказавшись в трёх шагах от поезда метро, Аниэ отступила назад, упёрлась в холодную массивную колонну. Вагоны, как голодные рты, раздвинули стальные губы, люди хлынули из раскрывшихся зевов. Те, кто только что стоял на платформе, суетно и грубо пихаясь, проникали внутрь, не дожидаясь выходящих. Изнутри доносился голос диктора, Аниэ успела осознать только «...будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона...». Как по команде, червь сомкнул свои пасти, и с места набирая скорость, унёсся в другую вонючую дыру.

Аниэ оттолкнулась от колонны и побрела по внезапно опустевшей платформе туда, где по её мнению была середина поезда. Ей нужна середина, это она запомнила.

Они развели огонь в печи, натаскали дождевой воды из бочки, постирали одежду Вахи. Когда воздух в комнате прогрелся, раздели сына, замочили на ночь давно не стиранную одежду. Не поднимая с кровати, обмыли Мустафу: подмышки и ноги, грудь и живот. Пока его мыли, Мустафа стонал и мутно смотрел на родителей. Потом Аниэ отошла и отвернулась, и Ваха обтёр сыну промежность. Надели на него шерстяные носки и голым укутали в самое сухое одеяло, какое нашлось. Выпили горячей воды перед сном. Затем вымылся Ваха и залез голым в кровать к мальчику, прижал его к себе так плотно, как мог, повторив все изгибы сына. Аниэ плотно укутала мужчин одеялом, подоткнула со всех сторон и сверху положила на них своё пальто.

Сын горел. Ваха ощущал его жар всем телом, понимал, что вспотеет быстрее, чем это случится с сыном. Мустафа ершился в кровати, пихался, но каждый раз, как сын дергался, Ваха прижимал его к себе. Сегодня он точно пропотеет, печь в двух шагах от кровати давала много тепла.

Дождь всё ещё лил, когда Аниэ ложилась спать. Вода стучала по жестяным вёдрам, Мустафа хрипло дышал и кашлял во сне. Но впервые за последние недели Аниэ ложилась спать спокойной. Всё наладится. В доме тепло. Теперь наладится.

Из сна её выдернули крики и грохот! Дверь резким ударом выбили из петель, она вылетела на середину комнаты и перевернула чаны с грязной водой.

— Зачистка! Всем лежать! Мордой в пол!

Приказы, крики, ругань. За волосы Аниэ стащили с кровати на пол в лужу грязной воды. От удара в живот перехватило дыхание и в глазах взорвались разноцветные огни. Прежде чем сапог припечатал её голову к полу, она увидела, как Ваху стаскивают с кровати и приклад обрушивается ему на голову. Ругань, сопение, стоны. И вдруг среди этого:

— Хьяакха [Свиньи]! Къиза стаг [Зверье]!

Мустафа, разъярённый, с дико выпученными глазами, прыгнул с кровати и бросился на солдата, который стоял к нему ближе, вцепился в автомат, остервенело дёрнул на себя...

— Вац! Сан бер, вац! [Нет! Мой родной, нет!] — Аниэ закричала.

Он дёргал автомат (немытые волосы облепили лицо мальчишки), в скачущих по дому ярких фонарях он походил на бешеного зверя без шерсти, рычал и слюной выплёвывал взрослые злые ругательства. Солдат отступил от прыгнувшего из темноты зверя, испугавшись и тем сильнее сжимая автомат, чем страшнее перед ним скалилось существо. Солдат осознал, кто перед ним, только спустя секунду после того, как заорал и от страха со всей дури ударил ногой жуткое существо перед собой, отбросив его, и напоследок, взорвав темноту слепящими вспышками, послал в зверя очередь, ушедшую

косо вверх. В тот момент, когда оранжевые цветки огня расцвели вокруг ствола автомата, солдат пришёл в ужас от запоздалого понимания - он палит по голому мальчишке!

Автоматная очередь прошила стену, крышу; куски сырой известки застучали об пол. Мальчик, пойманный мощными лучами фонарей, дико кричал и корчился на полу, прижимая руку к окровавленному животу.

— Стоять! ... Суки! ... Не стрелять!

Аниэ казалось, голова сейчас треснет перезревшей тыквой — солдатский ботинок вдавливал голову в пол с такой сумасшедшей силой, что край половой доски впивался и резал щёку, как наточенный нож прорезает упругий помидорный бок.

— Буров! — Кто-то на кого-то орал. — Ты-что-сука-творишь?!

Аниэ смотрела на сына, пойманного в сеть фонарных пятен, и крик костью стоял у неё в горле. Живот мальчика залит кровью, она сочится сквозь пальцы.

— Белый, я не...

— Схуя ты пацана срезал?

— Белый, я...

— Заткнись и добивай теперь? Или нет! Оставить! В машину его вместе с этим...

— Вац! Вац! Машаре! — Аниэ заверещала, извиваясь на полу под сапогом.

— Да! Да! — перекривлял её тот, кто стоял над ней.

— Машаре бахархой! Машаре...

— Мирные жители, говорят. Слышь, Белый?

— Машаре... — Аниэ рывком подняли с пола и поставили на колени.

На секунду она увидела: Ваха неподвижно лежит ничком в луже крови. Мустафу, голого, оторвали от пола, и за руки потащили к выходу и в какой-то момент Аниэ почувствовала облегчение, увидев, что живот сына цел, а кровь хлещет из раны выше локтя...

К Аниэ подошёл человек в камуфляже, закрыл собой всех и поднял её подбородок вверх. Аниэ увидела глаза. Спокойные, равнодушные глаза.

— Машаре, говоришь?

— Машаре! Машаре! Мирные...

— Мирные жители не возвращаются ночью из гор...

— Нет, нет. Мирные! Машаре бахархой...

— ...Но вы конечно скажете, за дровами ходили... — продолжал солдат, не обращая внимания на слова женщины.

— Да! Дрова! Цамгар дечиг! За дрова...

— А мы эти сказки уже слышали, представляешь?...

— ... дровами ходил. Ребенок болеет! Хала цамгар! Ребенок...

— Ты не первая...

— ...сильно болеет! Дрова нужны! Цамгар...

— Да, заткнись ты, сука!

Он заорал и кулаком ударил её в лицо. Голова Аниэ отлетела назад, в носу от удара что-то хрустнуло и в рот хлынула горячая солёная кровь. Перед Аниэ всё поплыло, на голову словно надели мешок с ватой. Голос внезапно отдалился, будто шёл из глубокого колодца:

— Тупая сука! Я не понимаю твой поганый язык! — заорал он, приблизив лицо к ней почти вплотную, капли чужой слюны брызнули ей на губы, но она этого не заметила. — Твой муж задержан, как член бандитских формирований. Всё!

Он положил ладонь ей на лоб и брезгливо оттолкнул. Аниэ завалилась назад, угасающим сознанием отмечая, как сына и мужа тащат к дверям.

— Слышь, Белый. — Слова доходили к ней всё глуше. — Нахера было нос ломать? Ничего ж тёлка...

Её накрыла темнота.

Она брела по платформе, вяло переставляя ноги, как старуха. Такой она себя и чувствовала — бредущей к скамейке смертельно уставшей женщиной. Ещё полгода назад она была красивой, пусть и не очень здоровой (кто будет здоров, когда идёт война), но у неё был муж и ребенок. Она верила, что впереди есть жизнь. Как разохшееся дерево от сильного порыва, её надежда на будущую счастливую жизнь дала трещину впервые, когда у неё отобрали родных. Надежда исчезла, рассыпалась трухой, когда Аниэ пришла в себя в ваххабитском лагере. Сейчас же, тяжело опускаясь на полированную миллионами людей деревянную скамью в метро, Аниэ не чувствовала в себе даже намёка на надежду.

Всё, что занимало её мысли, было навязано, вбито в её голову месяцами тренировок и подкрепленное изрядным количеством шприцев. Но где-то за этими мыслями, за схемами, за указаниями, мотыльком о тусклую лампочку билась радость, что сегодня она, наконец, увидит сына. «Нани къант ву и» [Ты мой хороший], — по мокрой щеке слеза сбежала к губам, и перекатившись, стекла к подбородку. Аниэ механически утёрлась, откинулась на спинку скамьи и закрыла глаза.

Она пришла в себя от холода. Открыла глаза. В потолке дыры от пуль. Скосила глаза. Сквозь целлофан, растянутый в оконных проёмах, в комнату проникает тусклый утренний свет. Лицо болит. Голова тяжёлая, мутная. Мысли ворочаются медленно. Обрывки ночного кошмара, крики, удары, кровь.

Оторвала свинцом налитую голову от пола, села. Дом поплыл перед глазами. Перевернутые ведра, выломанная дверь, разломанный комод и грудa вываленного белья. Упёрлась руками в пол и зажмурилась. Лицо пульсирует, боль густая, плотная. Там где раньше Аниэ видела свой нос, теперь вспухший комок — распирает, разрывает лицо изнутри. Тошнит. Её колотит от холода. Заставила себя посмотреть туда — пятна крови смешались с водой и стали почти незаметным среди луж. Но кровь.

Мутно обвела взглядом дом — всё разрушено. Вся мебель, какая была, переломана: табуретки, стол. Матрацы разорваны, не шить. В углу распоротый мешок с кукурузной мукой. Высыпан и растоптан. Кучки муки, пропитанные грязью. «Последняя еда», — мысль мелькнула, но ничуть не тронула.

Увидела свои ноги. Голые ступни. Потом голые колени — заочевенные и ободранные до запекшихся корок. Край ночной рубахи пропитан грязью. Рубаха прилипла на голых бедрах. «Ничего тёлка-то», сказал русский. Медленно и равнодушно положила руку себе между ног. Отодвинула край трусов, пощупала там. Подняла эту ладонь к лицу — ни крови, ни спермы.

Рядом спинка кровати, на ней какая-то тряпка — в тусклом свете непонятно. Или не в тусклом свете дело. Сощурилась, несколько секунд вглядывалась в тряпье в метре от себя, прежде чем поняла: юбка. Разорванная, но сухая. Потянулась к ней, но не достала.

Заставила себя встать, ощущая, как изнутри ко рту подкатывает тошнотворная горечь...

Спустя много времени, уставшая и кое-как одетая, бесцельно блуждая по разрушенному дому, наступила на кусок зеркала. Подняла. Вгляделась. На лице засохшая в причудливых узорах кровь. Вместо носа кровавое оплывшее месиво. Щека косо разорвана, кровь запеклась. Зажмурилась и стояла. В памяти обрывки ночного кошмара. Приклад, опускающийся на голову мужа.

Резко исчезли силы. Разжала пальцы, зеркало брякнулось на пол. Добрела до кровати, легла на голую панцирную сетку и спустя минуту провалилась не то в сон, не то в обморок.

Пришёл новый поезд, изрыгнул и заглотил очередные порции человеческих тел. Аниэ, не открывая глаз, плакала. Перед мысленным взором мелькали дни, которые наступили после того вечера, когда сквозь сожжённый артиллерией лес её кто-то оттаскивал от злосчастного КПП русского полка, а потом несли сквозь непроглядную чащу, а резкие порывы ветра ломали над головами ветки и забрасывал ими женщину, пребывающую в одном шаге от своей смерти.

Много позже того вечера, мучаясь бронхитом (но уже не гнойным циститом и воспалением легких), Аниэ ужаснулась, но довольно быстро смирилась, оказавшись в ваххабитском лагере, спрятанном в глубоком горном ущелье, зажатом со всех сторон скалами. Её паника от вида бородатых и чернокожих, увешанных оружием людей, осталась незамеченной, и Слава Аллаху! Умение смиряться с неподвластным ужасом, Аниэ передалось от деда, который в 1959-ом безуспешно пытался вернуть память о своих родителях и безропотно за это сидел, и после освобождения ни разу не взроптал. Аниэ, как и её дед (упокоенный под старой яблоней), отчётливо понимала — нельзя ни удивляться, ни сопротивляться. И Аниэ хватала мудрости это делать.

За неё решили, что она станет праведным Солдатом Аллаха — она не спорила, сил на это просто не было. Ей внушали, что ненависть и жажда мести жгут её сердце, а её тело теперь принадлежит чеченскому народу — она соглашалась. Её готовили к акту возмездия, внушали, что её поступок угоден Аллаху, временами она даже сама верила в это. А ещё говорили, что скоро увидит своего сына — она лишь плакала, когда это слышала.

Ей хватало здравого смысла понимать, что живёт она взаймы и занять этот отрезок жизни ей довелось у тех, кого она боялась и ненавидела одновременно. Новая жизнь была сытой, почти роскошной по сравнению с той, которой она жила последние несколько лет. Но эта сытость пованивала падалью. Разламывая новую, ещё теплую из печи, лепешку, она понимала, что кукурузу на этот хлеб силой отобрали у какой-то несчастной, оставив её детей с голодными и больными глазами. И кто же она теперь, когда жуёт этот вкусный свежий хлеб? Шакал. И живёт среди шакалов.

Поезд унёсся, платформа перед ней стала заполняться новыми людьми. Мысли медленно, словно мухи, увязшие в кукурузном тесте, вращались одна возле другой. Аниэ раскрыла рот и сделала судорожный вдох-выдох, и снова надо сморкаться.

С металлическим визгом подкатил следующий поезд. Лязгнули раскрытые двери. Новый поток хлынул наружу. Аниэ поднесла платок к носу, и никого не стесняясь, громко высморкалась, и в этот момент увидела человека, показавшегося ей смутно знакомым, как из прошлой давно забытой жизни. На мгновение в глазах отразился новый страх, но тут же исчез, как и исчезло мелькнувшее лицо среди тех, кто вышел из поезда. Лицо человека, как ей показалось, кто избивал её сына.

Яма глубиной три метра. По неровным глинистым стенкам вниз стекает мутная жижа вместе с дождём, льётся на спины и головы. На дне четыре человека, истощённые и замерзшие, в рваной одежде, жмутся друг к другу. По щиколотку грязь вперемешку с фекалиями. Сидят на корточках, чтобы не опускаться в вонючую жижу. Трое мужчин зажали спинами подростка, пытаются обогреть грязного, с перебинтованной выше локтя рукой. Он понуро сидит между ними, заходится кашлем. Кашляет долго, невыносимо. Кашель грубый, низкий, kloчочуций. Наконец затихает. Кровавая слизь повисает на подбородке, растягиваясь до груди. Он хрипло дышит раскрытым ртом и мутно, как будто не здесь, смотрит в никуда.

— Алаев! На выход.

Сверху упала веревка, упала в вонючую грязь на дне. Никто не пошевелился. Молчат, жмутся, дрожат.

— Алё, проснулись там. Я сказал, на выход!

Солдат дёрнул затвор и пустил автоматную очередь вниз, прошил пулями стенку. Грохот, фонтаны грязи, гильзы, полетевшие вниз на спины людей. Мужчины инстинктивно пригнули головы и закрылись руками, подросток даже не дёрнулся, кровавая слизь сорвалась с подбородка и упала на грудь.

— Я сказал на выход, ты чё?!

Луч фонаря опустил в яму, пошарил по людям и остановился на одном из сидящих.

— Алаев, встать! Сейчас бошку снесу, ты чё?!

Человек выпрямился. Закрываясь ладонями от света, подошёл к веревке, взялся за узлы.

— Жопой шевели!

Мужчина упёрся ногами в стену и, перебирая руками по узлам на веревке, пополз. Ноги скользили, руки срывались с узлов. Выбрался наверх, распластался в грязи, приходя в себя.

— Встать!

— Зачем орёшь? — Мужчина поднялся на четвереньки. — Что вы за люди? Кто ваши матери?

— Заткнись, говном воняет.

— Ваххабитов не хватаете. Зачем? — Мужчина, часто дыша, выпрямился на коленях.
— Все знают, в какие дома они ходят. Их не трогаете, нас убиваете. Там мальчик умирает.
— Мужчина поднялся с колен и махнул рукой в яму. — За что? Пожалей его мать.

— Двигай вперед. — Солдат толкнул его прикладом.

— Какой из него ваххабит? Отдай его матери.

— Двигай, я сказал.

— Звери вы дикие.

— Что?!

Быстро оглядевшись по сторонам, солдат с размаха прикладом врезал чеченцу в затылок. Чеченец полетел вперед и рухнул в грязь.

— Мы звери?! Мы?! — Солдат склонился на стонущим чеченцем и зашипел. — Даже дети ваши стреляют. В Дуба-Юрте вот такой же сунул нашему парню гранату без чеки в карман, вырвался и убежал. Это мы звери? Сука, это вы зверьё, чабаны дикие, козоёбы сраные...

Солдат замахнулся прикладом.

— Отставить!

Из темноты вышел человек без знаков отличия на камуфляже.

— Фамилия!

— Рядовой Буров.

— В чём дело, Буров?

— Задержанный споткнулся, товарищ капитан.

— Споткнулся? — Капитан затянулся сигаретой, неспеша выпустил дым, разглядывая лежащего в грязи чеченца. — Споткнулся — это хорошо. Ну, води его, куда вёл. Жду тебя через три минуты.

— Встать! — рявкнул Буров чеченцу.

Тот встал и, гонимый рядовым, поплёлся в штабную палатку.

Капитан подошёл к краю ямы, и затаившись в последний раз, щелчком отправил окурок вниз. Оранжевый огонёк разрезал темноту, а затем, ударившись о невидимый внизу барьер, разлетелся десятком мелких искр.

Когда Буров вернулся на пост, капитан светил фонариком в яму.

— Почему пацан не одет?

— Они голые были. — Ответил Буров.

— Кто?

— Он и отец его.

— То есть?

— Гомосеки, стопудов.

— Какие «гомосеки»?! Я спрашиваю, почему пацана не одели? Он же замёрзнет к хренам. На кой он мне дохлый?

— Не могу знать.

— Не можешь, — недовольно констатировал капитан. — Ты откуда такой?

— Из Москвы, товарищ капитан.

— Из какой, к хренам, Москвы? Я спрашиваю, где срочную проходил?

— Ханкала, 721-й мотострелковый полк.

— Ханкала? — Капитана это как будто повеселило. — Ты поэтому обосратушки на зачистке, боец?

— Товарищ капитан, этого пацана никто не заметил...

— Та мне поебать вообще! — Капитан жестко отрезал и подошёл вплотную. Запах табака и ядрёного лука ударил Бурову в нос. — Ты, сука, в дом к нохчам вошёл и хлебало раззявил? Ты за это будешь здесь говно из зинданов вычищать, понял? Всю, блядь, долгую зиму выгребать одно говно, понял меня? В контрактники он попёрся. Штабных уродов шлют, дебилов непуганых. За деньгами приехал, а, Ханкала?

Капитан сплюнул сквозь зубы.

— Мы ж теперь Отечество за бабло защищаем. Да, Буров? По-другому не хотим.

Буров молчал. В яме Мустафа зашёлся затяжным кашлем. Капитан посветил туда фонариком.

— Он больной, что ли?

— Док сказал, туберкулёз. И пневмона.

— Пневмона, — передразил его капитан, усмехнувшись.

Он помолчал, разглядывая мальчика в свете фонаря, и словно разговаривая сам с собой «Пневмония — это нехорошо», посветил фонариком в лицо Бурову.

— Завтра чечены придут, увидишь его мать — мне доложишь. Мать его помнишь?

— Помню.

— Ну, вот и хорошо. — Капитан вдруг подобрел, будто и не орал только что. — Ну, давай, Ханкала, служи Отечеству. И к пацану, смотри, близко не подходи. А то ещё... выпрыгнет из ямы и... БУ! — Он сжал пальцы в когтистую лапу и будто напугал Бурова. — Затем засмеялся в голос и ушёл, закуривая новую на ходу.

Услышав вой летящего к платформе поезда, Аниэ поднялась со скамьи, оправила юбку. Поезд вырвался из туннеля, как обычно заскрежетал тормозами. Двери раскрылись, выпустив толпу и всасывая в своё логово новую порцию. Аниэ двинулась к дверям и вдруг замерла. Её обогнала молодая женщина и девочка лет пяти, маленькие сапожки мелькают вслед за мамой. Аниэ остановилась, мгновенно приняв решение ехать на следующем.

В тот момент, когда мама вбежала в вагон, девочка оступилась, нога в маленьком сапожке исчезла в щели между краем платформы и порогом вагона. Девочка, как крылом, взмахнула рукой; мама, не заметив, не сбавила темпа. У Аниэ округлились глаза, секунда и она услышит хруст молодых костей, но девочка уже подставила вторую ногу перед собой в вагоне, а та, что провалилась, чудом повернулась под единственно верным углом, и сапожок выскочил из щели.

Девочка, взмахивая рукой, вбежала в вагон вслед за мамой. Двери захлопнулись, поезд набрал скорость и увёз молодую маму, которая так и не узнала, как маленькая дочь только что себя спасла...

И не только от перелома, думала Аниэ, глядя им вслед. Посмотрела на свои руки, они мелко дрожали. Трясущимися пальцами она утёрла мокрые глаза, подошла к краю платформы и стала ждать следующий поезд.

Раннее утро, сырое и тусклое. Через час в Хоттунни перед русским КПП соберутся женщины.

Аниэ схватила на затылке волосы в пучок, поверх повязала платок и застыла перед зеркалом. Постаревшая за неделю женщина. Нос, вдавленный в лицо, ребристый и сплюснутый, бордово-коричневый синяк на пол-лица с желтеющими краями.

Эти дни она призраком бродила по своему дому, приводила его в порядок. В дровах она не нуждалась, сучьев, нанесённых мужем ещё хватало. И разломанной мебели было в изобилии — возле печи высилась куча сырых обломков. Когда она опускала деревянные в огонь, они зло шипели и пузырились грязной пеной. Почему они с Вахой не додумались их сжечь раньше?

Истоптанную в грязь кукурузную муку она собрала и, как смогла, просушила. Она быстро привыкла к вкусу хлеба из зацвётшей муки, каждый кусок испечённой лепешки хрустел песком на зубах. Вкус не имеет значения, когда еда последняя.

Боли донимали её особенно сильно по ночам. Отёк на носу стал уменьшаться и кровоподтёки потемнели, но к вечеру начиналось.словно в нос зачихали ежа, который расправлял иглы и таким образом старался выползти. Каждая ночь проходила в полуобморочном состоянии, на грани яви и бреда. Казалось, ещё несколько таких часов и она свихнётся от боли, от одних и тех же мыслей, что неотступно, как назойливые мухи или голодные летние комары, зудят и зудят. И сил прогнать их нет, потому что вся жизнь, которая осталась — это ожидание, заполненное мыслями.

Рассказывали, в первую войну ингуши пускали нохчей в свои дома, хлебом делились. По пять чеченских семей в одном ингушском доме жили. Оскорбить нас боялись, беженцами не называли. Гостями звали. Так рассказывали тогда.

Когда чеченцы от второй войны побежали в Ингушетию, мы здесь, в Сельментаузене, радовались, что выживут, что сберегут детей и матерей. Всё иначе вышло — ингуши отвернулись от нас, двери домов перед нохчами захлопывали, даже детям еду не предлагали, знать нас не хотели, мы для них саранча. Так нас называют теперь — саранча. Улетаем из своих мест, чтобы чужое сожрать.

Старики понимают ингушей, оправдывают. Те своих детей от чужого горя защищают, дома и семьи свои берегут. А русские что здесь делают? Кого защищают? Кого берегут? Пушками убивали наш народ на дорогах, мирных чеченцев бомбили — тех, кто в Ингушетию бежал. Мы не верили — зачем русским нас убивать, мы же мирные люди? Как это понять? Мы не понимали.

Теперь понимаем. Когда русские в наши сёла пришли, всё перевернулось. Раньше бандиты убивали и грабили, потому что мы не хотим их газавад. Теперь русские грабят и убивают, потому что мы им на одно лицо. Нохчи — значит бандиты, так они нам в лицо плюют. Матерям плюют, даже старым матерям.

Ближе к рассвету боли утихали. Каждое утро она вставала мокрая от пота и по-несколько минут неподвижно стояла с мокрой тряпкой в руке, боясь прикоснуться к лицу, чтобы обтереть пот — лишь бы не встревожить ночного ежа. Она набирала в ведро воды и опускала в него лицо целиком — так и умывалась, бродя потом по дому, чтобы обсохнуть.

Эти шесть дней Аниэ всех внимательно слушала и запоминала. Многие ходят в Хоттуни уже не одну неделю. Одни говорят, если человека не отдали в первые 5 дней, уже не отдадут. Значит «распылили» тело, гранатами взорвали, чтобы следов не осталось. Другие наоборот, если за пять дней не выбросили, тогда жив и жди выкупа. За эти шесть дней никого не отдали, никому не предложили выкуп.

Аниэ высморкалась в тряпку. Невыносимо больно, в тряпке кровяные корки. Не сморкаться нельзя — голова начинает давить изнутри, вот-вот расколется.

Два дня назад возле русского КПП показалось, кто-то в форме на неё показывает. Она не разглядела, хоть и недалеко стояла — видеть стала совсем плохо. Женщины сказали, на неё показывают. Не позвали, ничего не сказали. Два дня потом Аниэ стояла у ворот с утра и до темноты. Ждала. Мёрзла. Сегодня с утра внизу живота рези появились и внезапно в туалет захотелось, чуть добежала. Теперь каждые полчаса в туалет с кровью.

Она вышла из дома, приставила дверь к косяку. Закрываться нет смысла — кому надо, войдёт с ноги. Пересекла двор, вышла на дорогу, дошла до края села. Внезапно сильно запекло внизу живота, нестерпимо захотелось в туалет. Опять.

Огляделась, к дороге примыкают кусты, за ними начинается просека. С этого места видна вышка КПП в сельментаузенском русском лагере. А значит, оттуда наблюдают. Зажмурилась, задрала юбки, спустила до колен гамаш и трусы, опустилась на корточки и... выдавила из себя пять капель мочи. С закрытыми глазами. То ли от стыда. То ли от страха. Или от боли. Лучше так, на дороге, чем в кустах быть застреленной.

Встала,правила юбки...

В то утро их гнали от ворот, палили в воздух. Женщины, скользя и падая в грязь, бросились в рассыпную. Аниэ, услышав выстрелы, побежала, но поскользнулась и растянулась во весь рост. Моча жгучими каплями потекла по ноге. Она испуганно оглянулась на стрелявшего. Рядом с ним появился ещё один военный. Кажется, показал на неё рукой и позвал к себе. Аниэ прищурилась, напряглась — её? Огляделась — больше некому. «О, Аллах! Неужели?» Вскочила и, путаясь в слипшихся от жидкой грязи юбках, поспешила к ним.

— Фамилия! — Сказал человек.

— Тухашева.

— Сына зачистили?

— Да.

— Иди за мной.

Прошли в палатку. Человек сел на ящик, положил на стол пачку сигарет и сверху накрыл ладонями. Не произнося ни слова, смотрел на Аниэ — не разглядывал, не рассматривал, просто смотрел. Аниэ теребила полы намокшей от грязи юбки.

— Сына могу отдать.

Ноги вдруг задрожали. «Аллах велик, слава тебе».

— Спасибо, спасибо! — Выпалила она. — А мужа? Ваха Тухашев. Мужа?

— Ещё раз повторяю, сына могу отдать.

Аниэ ступевалась. Не понимала, часто нервно моргала, теребила край юбки.

— Отдайте. Спасибо, товарищ военный. Спасибо.

— Деньги с собой?

— Нет, — руки Аниэ сами полезли мять пустые карманы. — Нет с собой.

— До завтра соберешь?

— Сколько надо, товарищ военный?

Тот опустил взгляд, неспешно открыл пачку сигарет, вытащил и прикурил. Выдохнул дым в сторону Аниэ.

— Три тысячи.

Аниэ похолодела.

— Так много, товарищ военный? — сказала внезапно севшим голосом.

— Да, брось. Не дороже хорошего барана. Мы же о ребенке говорим. Постыдилась бы торговаться.

— У меня нету столько, — в её голосе прозвучала мольба.

— Послезавтра задержанных этапируем в Шали, — перебил её человек. — Не вернёшь сына.

Он встал, затянулся сигаретой.

— Я видел его сегодня. — Вдруг сказал с фальшивой заботой в голосе. — Худо ему, лечить надо.

Затушил бычок об край жестянки с окурками.

— Ты найди деньги, — он взял её под локоть и вывел из палатки, — родных спроси, к мулле сходи. В общем, изыщи способ.

Аниэ шла рядом с ним оглушенная. Возле ворот тронула его за рукав:

— Мужа отдайте?

— Слушай, иди уже, иди. Буров! Вывести гражданское лицо из части!

Аниэ обступили женщины на дороге.

Входя в крайнюю дверь, она отдавала себе отчёт, что ослушалась приказа входить в середину вагона (где на этой линии людей всегда больше). Но не эти мысли занимали её разум. Готовясь к этому дню, её преследовал один и тот же вопрос - неужели Аллаху угоден весь тот ужас в Чечне, та обесчеловечивающая кровавая резня, озверение и зашкаливающая ненависть ко всему русскому, которые уже через несколько лет станут врождёнными у чеченских детей?

Если всё, что произошло с Вахой и Мустафой, произошло по воле Аллаха, — думала Аниэ, — значит Аллах ловкий шулер, совсем как Православный Бог, который убил своего сына и потребовал, чтобы за это каялись люди. Аниэ не хотела в это верить. Всё, что случилось тогда, шесть месяцев назад — стечение обстоятельств, несчастный случай, свершённый ВОПРЕКИ воле Аллаха. Аллах любит своих детей (и ещё Аниэ верила, но никому не говорила — Аллах любит даже тех, кто предпочитает служить распятому человеку).

Она не находила в себе ответа на этот (самый главный для неё) вопрос, несмотря на многие часы в беседах с имамом Анваром. Хотя, если бы Аниэ передали, что это были не беседы, а гипнотические внушения, ничего бы не изменилось. Она всё равно продолжила бы готовиться. Потому что у неё была своя причина, скрываемая от всех и настолько неосязаемая, что Аниэ не смогла бы её сформулировать словами.

Мсть её не интересовала вообще. Как и кому можно мстить? Тем несчастным православным женщинам, которые, как и Аниэ ещё недавно, стоят в эту минуту перед воротами русских полков и так же отчаянно вымаливают вернуть им сыновей живыми? Нет, она хотела не мести. Она хотела остановить войну и ей казалось, у неё есть шанс крикнуть об этом на весь Мир. Она не знала тогда (хотя догадываться могла), какая волна ненависти поднимется к чеченцам (ко всем без разбору!). Но если бы и знала, она всё равно бы сделала то, что для неё задумали в Армии Аллаха.

Аниэ давали читать статьи одной журналистки из Москвы, та пишет о русских зверствах в Чечне. Имам Анвар сказал, её убьют, не захотят, чтобы Мир её слушал. Кто убьёт, спросила Аниэ, мы? Нет, ответил имам, но обвинят нас.

В лагере Аниэ насмотрелась много гнусных мерзостей. Именно там ей открылось, что нынешняя Чечня - это не «Мсть» и «Священный Газавад», а мутные бандитские (или правильнее говорить «политические»?) игры, закрученные возле разграбленных нефтяных трубопроводов. И об этом совершенно точно не напишет ни одна русская, а чеченец и подавно (лишь бы выжить!). И потому, понимает Аниэ, мира в её стране не будет пока в нефтяных играх главные роли играют русские чиновники. И до тех пор, пока проклятая нефть будет выкачивать души из чеченских людей, её страна будет вспучиваться могильными холмами без надгробных камней.

Не сможет русская журналистка достучаться до русских сердец. И как бы это глупо ни звучало, ей, Аниэ Тухашевой, уроженке поселка Сельментаузен Веденского района Чечни, остаётся сделать только одно — встряхнуть русских людей, чтобы они пережили тот же

ужас, который обрушивается в Чечне на мирных женщин и стариков и детей каждый день. И тогда, — думала Аниэ, — простые русские люди ужаснутся и закричат: «Оставьте Чечню в покое!»

Аниэ вошла в вагон московского метро 29 февраля 2002 года — в день, который бывает раз в четыре года, в день, который Россия не сможет забыть никогда. Аниэ вошла в крайнюю дверь вагона и взялась за верхний поручень возле торцевой двери.

Деньги собирали все. От дома к дому, от посёлка к посёлку пронеслась весть «Будет выкуп». Незнакомые люди подходили к Аниэ и передавали деньги. Ничего не говорили, клали в руки и, не ожидая благодарности, молча уходили. Аниэ брала и кусала губы, чтобы не заплакать, хотя глаза щипало от наворачивающихся слёз. Брала и молчала. Один раз смогла разлепить губы и просипеть: «А вам?» Ещё нестарая мать, опуская замусоленный свёрток Аниэ в карман, ответила: «Я сыновей схоронила. Ты сбереги».

Следующим утром сына не отдали.

В воротах появился вчерашний военный, позвал. Аниэ направилась за ним, вошла в ту же палатку. Человек взял у неё пакет с деньгами. Пересчитал.

— Ну вот и хорошо. Теперь вопрос, ответишь - сына отдам. Когда Басаев придёт в Хоттуни?

Аниэ растерялась, не соображая, при чём здесь Басаев, при чём она и её сын. Все знают, Шамиль из этих мест. Все знают, русские считают, он вернётся сюда. Но так же все знают, кому эти вопросы надо задавать — кто знает ответы. И это точно не такие, как она.

— Не скажешь? Ну и ладно. Проверить я должен был? Шутка это. Отдам сына. Слушаешь меня?

Аниэ быстро кивнула.

— Правила такие... Наступает комендантский час, ты подходишь в ворота и ждёшь. И чтоб с тобой никого, иначе сделка аннулируется и пацана отправляю этапом в Шали. Всё ясно?

— Где мой муж? — Набралась смелости и выпалила.

— Ну, если вам всё ясно, — неожиданно перейдя на официальный тон и словно не услышав вопроса, — прощайте, гражданка Тухашева. Прощу покинуть территорию российской военной части.

Аниэ вышла к женщинам. Всё рассказала. Её успокаивали. Вытирали слёзы. Болел живот, еле терпела, чтобы не обмочиться у всех на глазах. Её увели в Хоттуни, напоили теплой водой со вкусом трав, дали что-то съесть. Когда стало темнеть, женщины проводили её к воротам.

Стемнело быстро. Оставшись одна перед воротами части, Аниэ выбрала освещённый прожекторами участок и села, сложив руки перед собой на коленях. Темнота спускалась за границами перекрещенных на дороге лучей.

Она, как дирижёр, стояла лицом к всем. Но в отличие от руководителя оркестра, не смотрела ни на кого, задрал голову и сдерживая слёзы, обреченно уставившись на

вагонные матовые плафоны. Те несколько секунд, пока они стояли с раскрытой дверью, впуская новых людей, она увидела достаточно, чтобы укрепиться в вере...

Равнодушные люди. Только что вбежали в вагон, торопились и толкались на входе, и вдруг, взявшись за поручень или прыгнув на свободное сидячее место, снова погружаются в спячку. Даже веки у многих опускаются, как у лошадей в стойле, и выражение с лиц исчезает. Так гаснут в домах окна с наступлением темноты. Больно смотреть на ухоженных равнодушных людей, которые подобно осенним жирным мухам, застрявшим в оконной раме, вяло переваливают распухшие животы на тонких лапках.

Вот почему чеченское горе такое огромное, — и ком в горле застревает, мешая сглотнуть, — не политики и не военные... Сами здешние люди и есть слабые. Чужие друг другу, ненужные. Может потому, — внезапно догадывается Аниэ, — и не кончается война — так подростки унижают маленьких детей — дать сдачи некому. И ещё Аниэ понимает, и от этого ей становится дурно (и пот собирается каплями под волосами на лбу), что могла быть вовсе и не Чечня. Любая другая страна, Дагестан или мирная Ингушетия, могла бы сейчас умирать, а русские люди так же спокойно плыли бы по вонючим подземным тоннелям, выдували бы ртом липкие пузыри и слушали бы про чужие смерти по телевизору.

Аниэ вдруг ощутила прилив веры — она не напрасно, здесь её место! Равнодушные и вялые люди, как дихлофосом потравленные, вострепнут, и пусть возненавидят Чечню — лучше уж ненависть. А та, русская, пусть ещё напишет про мирных чеченцев... Кто-то обязательно узнает...

— А не узнает, — думает Аниэ и слёзы всё-таки срываются с ресниц, — на то воля Аллаха. Я иду к тебе, родной.

Судорога прошла по лицу Аниэ, когда поезд дёрнулся и тронулся с места. Люди, стоящие рядом (привыкшие не замечать таких, как она), не смотрели на странного вида старуху с изуродованным отёкшим от горя лицом, глубокими темно-синими кругами под глазами, одетую в чёрную длиннополую одежду. Но если кто и скользил по лицу женщины быстрым взглядом, он не мог разглядеть того, что ужасало саму Аниэ — выпотрошенную женскую душу.

Кишки в животе скрутило тугим узлом и пятки похолодели от предчувствия. Поезд набирал скорость.

Ветер, поднявшийся к середине дня, к вечеру стал крепчать. Он порывами бил Аниэ в спину, трепал края юбок, проникал сквозь ткань и обжигал холодом. Аниэ обнимала себя, пыталась согреться. Крепко сжимала челюсти, старалась не клацать зубами — каждый стук отдавался в перебитых костях носа. Озноб ледяными волнами накатывал от замёрзших ног вверх, вздыбливал кожу и мерзко шевелил волосы на голове.

Она тряслась, вжимала руки в подмышки и втягивала шею в плечи. Её лихо, по-цыгански, передернуло, и от прокатившей по ней судороге согнуло пополам, пригнуло к земле. Кровь в момент хлынула к лицу, и переломанный нос взорвался горячей

пульсирующей болью, и в глазах от этого разлетелись яркие точки. Аниэ раскрыла рот, но крик замёрз. И только вдох-выдох, вдох-выдох в ожидании, пока утихнет вспышка, равнодушно отмечая, как с губы на землю капает слюна и, уносимая ветром, разлетается брызгами в воздухе. Лишь бы утихла боль. Холодный воздух морозил горло, дышать было невыносимо, а глотать невозможно, словно в рот напихали татарника и каждым глотком пропихивали глубже, вспарывая горло до крови.

Голова тяжелела, мутнела, вместе с холодом приходило оцепенение. Оно расползалось внутри, пожирая мысли и чувства, как рассветный туман поглощает горы и ложбины. Страх, последние ночи высасывавший её силы, исчез, захлебнулся вязкой мысленной кашей, и ночные звуки гор стали такими же глухими и далёкими, как если слушать их из-под толщи воды.

Она больше не боялась. Лица замелькали перед глазами, как кадры исторических кинохроник — черно-белые исцарапанные картинки из её такой недолгой и не очень счастливой жизни. Сколько горя ей довелось увидеть в свои тридцать два. Сколько горя видели женщины её страны. Сколько слёз пролито по убитым детям, а сколько ещё будет. Сколько могил земля в себя приняла и сколько ещё примет.

Мысль о кладбище не отпустила её, образ свежих могил зацепился, как целлофановый куль за ветку высокого дерева, затрепыхал перед глазами. Она словно воспарила над планетой, которая была вовсе не голубая, а черная и дымящаяся, с одной стороны вся утыкана православными крестами, а с другой вспучилась влажными земляными холмами без могильных камней... И где-то там, в этих нестройных рядах она увидела (Нет! Она знала, что оно там есть!) пустое место, уготовленное ей среди безымянных брошенных могил, которые спустя четверть века зарастут кустами и станут такими же, как могилы предков.

Нохчи не говорят о своем позоре, но и забыть его не могут — полвека назад чеченцы вернулись в родные сёла после пятнадцатилетней ссылки в Казахстан. Их встретили разрушенные селения и разорённые кладбища, исчезнувшие в траве и кустах. Нет, могилы не были осквернены, но могильные камни и надгробья исчезли. По всей стране. Все они оказались в Грозном, который советские строители восстанавливали после Великой Отечественной, надгробьями выкладывали ступени домов, мостили тротуары, закладывали в фундамент новых домов.

Как чеченцы могли снести это унижение? Смогли. Многие мужчины ночами ходили в Грозный, находили надгробья своих родных и выламывали их из тротуаров и лестниц, чтобы вернуть в родные сёла и восстановить память. Но скольких таких мужчин посадили за это в тюрьму, никто не считал. Многих сажали. Они и это стерпели... забыть не смогли.

Пять лет назад, когда первая война кончилась, народ в Грозном собрался: старики, дети и женщины своими руками разбирали тротуары и лестницы, выламывали, вытаскивали из фундаментов надгробные камни, сносили в центр. Огромный памятник построили — почистили и расставили могильные плиты, сделали таблички с датами рождения и смерти, проложили мраморные дорожки. Отчеканили над мемориалом «Мы не плачем, не плакали и не будем. Мы помним».

А всего год назад, когда в 2000-ом военные русские снова заняли Грозный, разгромили памятник. Растащили надгробные камни и... сделали из них укрепления блокпостов. Знали ли русские, тогда, в сорок пятом, и сейчас, в двухтысячном, что нет сильнее унижения для чеченца, чем осквернение памяти о предке? Мы не говорили об этом, и не скажем — мы плачем только по умершим. А мы живы. Но этот позор мучает нас, как мучал и деда Аниэ, который сидел в камере, не сумев вернуть нагробье своего отца.

Черно-белые исцарапанные картинки о прошлом мелькали перед глазами женщины.

Не найдёшь концов, перепутали всю пряжу, грязью истоптали. Оба народа изгажены: для них любой чеченец — бандит, для нас бандит — любой русский. Как жить с этим позором? Кто сможет жить с этим позором? Я? Мой мальчик? Мой хороший. Где ты, почему не отдают? Всё сделала — деньги принесла, одна пришла — всё сделала. Что ещё вам надо? Шакалы, отдайте сына. Мой он. Мой!»

— Отдайте!!!

Она сильнее схватилась за поручень в вагоне, обкусанные ногти даже сквозь слой застарелой грязи побелели от напряжения. По виску скатилась капля пота. И щека задёргалась, словно к ней подвели электричество.

Почти уткнувшись лбом в землю, рычала и скрежетала зубами. Отчаянно лупила кулаком по грязи и в бессильном иступлении выкрикивала имя сына. Всхлипывала, стонала, теряла последние силы.

— Он мой! Отдайте!!!

Боль раскалённым прутлом вспорола живот и взвилась фонтаном, расплескивая жидкий огонь на внутренности. Плоть между ног воспламенилась, раздираемая миллиардом лезвий. Аниэ зажала руки между ног, сжала бёдра. Мысли о сыне и о семье исчезли, как и не было. Боль завладела ею целиком, схватила и поволокла в густую тошнотворную муть. Сознание затуманилось, мир потускнел, звуки стихли, и только между ног неудержимые горячие капли мочи прорезали путь наружу через воспаленные органы.

Аниэ завалилась в грязь, спасительная темень накрыла, но почти сразу отпустила — Аниэ даже не поняла, что теряла сознание: лица мужа и сына выступили из темноты — спокойные, чистые — как в последний раз, когда укутывала своих мужчин в пальто; выступили и сразу побледнели, растворились в желтом слепящем свете прожекторов. Открыла глаза и не сразу поняла, почему земля не внизу, как обычно, а сбоку. Лезвия снова вгрызлись в её плоть, и вместе с ними вернулась память. Вернулись боль и отчаяние. И холод.

Она лежала, как больная собака, без сил, непокрытой головой на холодной земле, волосы расплывались веером по жидкой грязи. Малоосмысленным взглядом смотрела куда-то туда, где свет прожекторов уступал место густеющей тьме. Скользила там взглядом и не видела того, на что смотрела, не замечала лежащего на земле силуэта.

Минуты проходили в этом зыбком полубеспамятстве и болевом мареве, и вдруг в подсознании сложилась картина, заставившая Аниэ напрячься и вглядеться в темноту за освещённым кругом. Глаза не хотели фокусироваться, изображение двоилось, расплзалось, как размокший кусок мыла расплзается в руке. Но там, в темноте, недалеко от забора военной части, кто-то лежал и... О, Аллах! Мальчик!!!

Поезд летел сквозь чёрный тоннель. Сквозь страх, потёкший по спине холодными каплями, на ум пришла молитва, заученная в детстве: «О Аллах, хвала тебе! Тебе я покорилась и в тебя уверовала...»

Аниэ засучила ногами, пытаясь встать, и руками. Ватные ноги не слушались, и лезвия потрошили её изнутри. Она заорала от вспыхнувшей волны боли, перевернулась на бок, вскарабкалась на четвереньки и, нелепо качаясь в стороны, поползла на четырёх в сторону силуэта.

Мальчик. Мой мальчик...

Как в кошмарном сне ползла, с каждым коленом не приближаясь к цели, а будто отдаляясь. Казалось, земля не пускает её туда, где с каждым метром всё лучше видны очертания маленького человека, завернутого в тряпки. Зверьё! В тряпки нельзя заворачивать живых! Она спешит, спешит. Сдирает кожу на ладонях об камни, рвёт юбки и спешит. Подползает, хватается за тряпки, неистово рвёт, дерёт ткань, рычит... и вдруг... начинает выть... на одной ноте...

Вся в чёрном, похожая на смерть, с перекошенным дёргающимся лицом стояла в вагоне. С губ слетали звуки, заглушаемые гулом поезда, пронзающего чёрный туннель с огромной скоростью. Она говорила всё громче, временами выкрикивая «Ла Илаха Илла Аллах... Ла Илаха Илла Аллах...»

Осознание пришло к людям не сразу. Женщина, сидевшая рядом, вскинула голову, в глазах её мелькнуло непонимание. Мужчина в шаге от Аниэ, скользнул по ней рассеянным взглядом, а потом резко повернулся, повёл ноздрями, как учувший опасность конь, и боком, распахивая плечами и наступая на чужие ноги, бросился продираться к середине вагона, увязая в чужих шубах, пальто и сумках. Молодой человек, что-то увлечённо кричавший на ухо своей спутнице, вдруг оборвал рассказ на полуслове, глядя расширяющимися от ужаса глазами на губы Аниэ и на её руку, ползущую бледными пальцами с грязными изгрызанными ногтями куда-то под куртку.

Поезд летел, стenal, скрежетал; вонь метрополитена через вентиляционные решетки нагнеталась внутрь вагона, ветер трепал седые волосы смертницы, словно змеи шевелились на голове Горгоны. Пальцы искали что-то возле шеи, с губ срывалась не то молитва, не то плач.

Паника настигла людей в один миг — кто-то заорал «Ложись!», слышался женский истеричный визг, пассажиры испуганным стадом ринулись прочь от страшной женщины, орудуя локтями, отталкивая друг друга в давке. В проходе между сиденьями кто-то упал и в следующую секунду заверещал от боли, когда ладонь прошила женская шпилька. Молодой человек с расширенными от ужаса глазами что-то заорал своей спутнице, толкнул её вперед и вниз, и оказался вместе с ней за алюминиевой перегородкой возле дверей, как будто та могла спасти их от взрыва.

Аниэ распахнула глаза, когда нашла под курткой то, что искала. Она вдавила кнопку до упора, почувствовав кожей, как пружина под пальцем щёлкнула и одновременно с этим ощущая, как из под ног уходит пол, и мир переворачивается вокруг неё вместе в кричащими обезумевшими от страха людьми.

Не отпуская кнопку, она считала секунды, отделяющие её от сына...

...подползает, хватается за тряпки, неистово рвёт, дерёт ткань, рычит... и вдруг...

Сын... лицо бледное, восковое, мёртвое, в корках грязи и кровавых разводах возле рта. Одно веко опущено. Другое не до конца, виден мутный съежившийся белок. Рот открыт, губы синие, высохшие, растресканные. Аниэ дрожащей рукой прикоснулась — кожа твёрдая, пальцы холодеют от прикосновения. «Мой хороший... Как же ты... Когда же ты... Мой хороший...» Она бережно взяла его голову в ладони, приподняла и прижалась к ней грудью, и вдруг взвыла — пронзительно, как зверь, учувший смерть. Она была тоскливо, безутешно, а потом, когда силы, казалось, оставили её, заорала на желтое пятно света, льющегося из прожектора российской части:

— Сволочь! Шакал! Будь ты проклят и прокляты дети твои! Пусть тебя разорвут на куски и тела твоего не отдадут твоей матери!

Дрожь кончилась, холод отступил, жар разлился по телу вместе с липкой слабостью. Слёзы навернулись на глаза и поползли по щекам... Теперь... можно... плакать... Можно...

Аниэ рядом с вопящими от страха людьми скулила брошенной собакой, слезы по лицу текли монотонно, как тот дождь, который принёс беду.

Она словно находилась в двух местах сразу. Здесь, в вагоне, среди визжащей в панике толпы, вжимала пальцами кнопку, и там, в грязи возле сына, обнимала его мёртвое тело и раскачивалась, забыв о боли, ни на секунду не отпускающую её воспалённую плоть. В сером бесконечном оцепении пребывала в какой-то душной пустоте, куда-то уплывала, возвращалась, приходя себя то в вагоне метро, где люди с перекошенными

лицами пытались от неё убежать, то на дороге перед КПП с окоченевшим сыном на руках, то вдруг в лесу, по которому её оттаскивали от ворот российской части, и ночное небо мелькало в кронах над ней. Казалось, она вечно блуждает в этих тошнотворных потёмках, не находя из них выхода и теряя волю от вновь переживаемых минут ужаса.

Руки слабели, тело сына наливалось каменной тяжестью. Пальцы, там заочевенные, а здесь очевенные, соскользнули с кнопки в тот момент, когда губы в последний раз прошептали «Ла Илаха Илла Аллах». Тело выскользнуло из очевенных рук, мир вокруг качнулся, и Аниэ ничком рухнула на мёртвого сына. Мощным взрывом её разорвало, разбросало кровавыми очметками по стеклам...

Эпилог

Мокрый тяжёлый февральский снег ложился на крышу пустующего дома. Дверь, когда-то приставленная заботливой женской рукой, валялась на крыльце, ветер наметал внутрь горки снега. Мебель, давно разломанная чужими ногами, свалена в кучу перед печкой, словно ждала, пока ею разведут огонь. Оконный целлофан трепыхал на ветру рваными краями.

Сверху раздался треск, и комья снега сквозь дыру в крыше свалились внутрь, глухо разбившись об пол белой кляксой. Вверху снова протяжно затрещало, как будто рвут обрез ткани. Вместе с новой порцией снега сверху посыпалась сырая почерневшая штукатурка, застучали по полу камни. Вдруг крыша просела и рухнула под тяжестью сугробов внутрь. Мокрые пласты снега заскользили по шиферу, сползая с обломков на давно некрашенный пол. Дом как будто выдохнул и, не дождавшись хозяев, умер, погребенный под серым февральским снегом.

Конец.